

Павел КРУСАНОВ

Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил педагогический институт им. А.И. Герцена (ЛГПИ) по специальности «география и биология». Работал осветителем в театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати. С 1989 года начал работать в издательствах на редакторских должностях. В настоящее время – главный редактор «Лимбус Пресс».

Лауреат премии журнала «Октябрь» (1999), финалист премии «Национальный бестселлер» (2003, 2006, 2010) и премии «Большая книга» (2010), лауреат всероссийской премии искусств «Созидающий мир» (2020).

Живет в Санкт-Петербурге.

ПАСТОРАЛЬ

Тетёрка была из прошлогоднего выводка и дурман весны ощутила впервые.

Зима выдалась малоснежной; хорошо, обошлось без жгучих ветров и трескучих морозов, так что искать защиту от стужи под снегом, в лунке, не было нужды – если не стыли лапы, ночевать можно было на деревьях, а чтобы схорониться, хватало сухотравья, моховых кочек и гушины подлеска. Совсем не то одевшимся на зиму в белое зайцам и горносталям, им – беда. Где спрячешься в лесу? Теперь ждать холодов уже не приходилось. И пусть на заре землю иной раз обсыпала изморозь, породивший её утренник казался свежим, бодрящим, не злым – поднимется солнце, и иней, смочив травы, мхи, зелёный круглый год брусничный лист и бурый багульник, сойдёт, воздух в лесу прогреется и остатки ноздреватых снежных намётов поплывут и подождутся.

Этим утром, как минувшим, и как тем, что было перед минувшим, рябуча чувствовала в груди неясное томление и беспричинный трепет. Словно весна пробудила внутри неё незнакомое существо, которое хотело чего-то, о чём сама тетёрка не имела ни малейшего понятия – это существо металось, звало в полёт, на поиски того неведомого, но влекущего, что волновало, пугало и манило одновременно. Совсем недавно, ещё несколько дней назад, когда солнце только начало прогревать выходящий из зимней дрёмы лес, когда чуть зарозовели молодые берёзовые ветви, внявшие гудению сока в стволах, когда только-только запахло влажной пробуждающейся

землѣй и стали набухать на лозе почки, она с полным безразличием слушала нерешительное бормотание косачей, рассаживающихся в голых кронах берѣз и на вершинах молодых сосенок. Но внезапно всё изменилось. Теперь её неодолимо тянуло к заветной поляне, на старую вырубку у просеки, густо затянутую молодым лесом. Там по утрам и вечерам голосили краснобровые красавцы-петухи – бормотали, чуфыкали и заводили свои драчливые игрища, хлопая крыльями, распуская чѣрные с белым исподом хвосты, подпрыгивая от возбуждения и выщипывая друг у друга перья.

Ещё не рассвело, а рябуха, очнувшись от непрочного сна и охваченная непонятным беспокойством, встрепенулась, прислушалась к утренним звукам весеннего леса и, слетев с берѣзы, на которой провела ночь, отправилась перебежками к месту косачиных игрищ. По пути в молодом осиннике невзначай наскочила на двух бурых в чѣрных и бежеватых пестринах птиц с забавными длинными клювами – те резво отскочили от неё под куст ивняка. Неясно, точно сквозь сон, припомнилось рябухе, как ранней осенью, ещё тетеревѣнком, она повстречала таких же птиц на полевой дороге, где те выискивали и глотали камешки. Тогда они показались ей большими и опасными, а теперь – маленькими и совсем не страшными: потешные длинноносые фитюльки.

Миновав осинник, усыпанный прелой листвою с белеющими тут и там пятнами грязноватого снега, тетѣрка вспорхнула и полетела к поляне, откуда, далеко раскатываясь по предрассветному лесу, уже раздавалась призывная курлыкающая песня.

Гульбище косачей заморозило рябуху. Сев на берѣзу, она, не в силах отвести взгляд, наблюдала, как иссиня-чѣрные петухи ходили по поляне кругами, подскакивали и оглашали окрестности раскатистым бормотанием. Грациозные щѣголи, одурманенные весной и распалѣнные любовью, волочили опущенные крылья по земле, расправляли хвосты с гнутыми боковыми косами, обнажая белоснежное подхвостье, надували друг перед другом переливчатые зобы, вытягивали над землѣй шею, чуфыкали и, выбрав соперника, в неистовстве, наскоком, сходились в драке. Тогда над поляною раздавались удары крыльев и летело в стороны выбитое перо.

Спорхнула вниз с близстоящих деревьев и пара тетѣрок-старок – на поляне послышалось их озабоченное клохтание. Того только, казалось, петухи и ждали: как по команде вошли в ещё больший раж – танцы разыгрались с новой силой, голоса стали громче, далеко по лесу покатились округлые булькающие песни, разбиваемые то звонким ку-ка-ррр, то глуховатым чуф-фышшш. В какой-то миг рябуха не усидела на ветке – пробудившееся в ней беспокойное существо толкнуло её туда, на поляну, к красующимся голосистым задирам. Расправив крылья, она вслед за старками слетела на ток.

Крупный краснобровый косач, кружась, гарцуя, расчѣсывая жухлую траву чѣрными с белыми зеркальцами крыльями, тут же поспешил к рябухе – поворачивал в танце к избраннице то один, то другой бок и во всю ширь распускал угольный с завитыми краями хвост. Поначалу оторопев от столь горячей встречи, молодая тетѣрка затаила дыхание, но косач был настойчив, кружил и кружил, не унимаясь, ворожа, наводя танцем неотразимые чары... И она не устояла – дрогнув, сердце её заколотилось, и рябуха торопливо, с оглядкой, повела петуха за собой, в гущину зарастающей вырубки. Там и подпустила жениха, ненадолго утолив разбуженную весной, расцветшую, будто пламенный цветок, всепобеждающую жажду.

Ещё не один раз тетёрка прилетала на ток – и на другой день, и на третий, по утрам и вечерам, – обмерев, не могла отвести глаз от косачиных игрищ, потом слетала на поляну и уходила с гарцующим красавцем в заросли.

Неподалёку, на краю вырубки и старого леса, в завале прошлогодней травы под упавшей сосной она соорудила гнездо, выставив его листьями, мхом и веточками, куда откладывала бледно-палевые в бурых конопатинах яйца. После восьмого яйца рябуха перестала летать на поляну. Томление внутри неё улеглось, охота ушла – петушинные песни больше не откликались в груди горячим трепетом, неодолимое желание остыло. Теперь гнездо, где она села высидывать яйца, стало её неусыпной заботой.

* * *

Пётр Алексеевич рассказывал, профессор с улыбкой, выражавшей снисходительное понимание, внимал. Речь шла о лягушечьей коже – о несостоявшейся студенческой любви, историю которой в припадке не то душевного покаяния, не то ностальгической грёзы поведал Петру Алексеевичу этой весной Пал Палыч. То есть состоявшейся любви – конечно, состоявшейся, но как-то неказисто свернутой в испуге, не укоренившейся, отчего она бесцельно и безрадостно увяла, не дав ни цвета, ни плодов. Впрочем, если бы всё повернулось иначе, если бы не развела голубков судьба, сыграв на юношеском малодушии, в разные стороны, если бы все эти годы они прожили вместе горько и счастливо, как на земле заведено, – если бы так случилось, разве держал бы в памяти Пал Палыч всю свою оставшуюся жизнь этот образ – девчонку, полночи проплакавшую сладкими слезами у него на груди? Нет, не держал. Затмили бы его последующие утехи, горести и ссоры – пыль жизни, без которой нет ни мирской печали, ни мирского благоденствия, как бы ни походили наши дни на радости седьмого неба. А помнил бы он в этом случае другую – Нину, с которой и разделил в итоге ношу трудов и дней... То есть ту, юную Нину помнил, какой её оставил, если бы предпочёл ей студентку, обмоктившую ему рубашку...

– Не нам судить, – сказал Цукатов.

– Порой мне кажется, что у тебя на месте сердца – жаба, – с дружеской непринуждённостью заметил Пётр Алексеевич. – Кто судит? Понять хочу. Случались ведь и с нами безумства страсти и другие помешательства. Вспомни университет – гульбища в общаге, летняя практика на биостанции... Что, интрижек не случалось? Да сколько хочешь. Всех не перечешь.

– Одно – там, другое дело – здесь. – Взгляд профессора потеплел от нахлынувших воспоминаний. – В провинции нравы всегда были строже.

– Что-то не верится. Ну, если и строже, то разве только напоказ – Тартюфам переводу нет. Природа, брат, на всех одна и принуждения не терпит.

Пётр Алексеевич и профессор Цукатов, распаренные, влажные от воды и выгнанного пота, сидели в предбаннике с кружками кваса в руках. Позади были три захода в парилку с берёзовыми вениками – после каждого, дымясь, бегали к речке, на берегу которой стояла баня, и с фырканьем бултыхались в водяной струе под ивовым кустом, в специально выгороженной валунами купели. Полина, не мудрствуя, называ-

ла эту речную ванну джакузи. Середина августа, завтра открывается охота. Сегодняшний день был праздным.

Поднявшись с места, Пётр Алексеевич заглянул в дверцу банной печи и подбросил в топку три полена. Профессор воспользовался моментом – поставив кружку на стол, растянулся на лавке во всю её длину. Пётр Алексеевич сел на соседнюю.

– Давай и мы не будем лицедействовать – играть в Тартюфов, – предложил он. – Давай-ка посверкаем стекляшками души.

– Давай, – согласился Цукатов.

– За себя честно скажу, при встрече с каждой красоткой я помимо воли тут же представляю её в постели: запрокинутая голова, растёкшиеся на две стороны груди, сбитое дыхание, счастливое страдание на лице... При этом, как ты знаешь, я не сатир. Видения возникают сами собой, вполне невинно – это такой бодрый знак приветствия представительницам противоположного пола, своего рода галантный комплимент воображения. – Пётр Алексеевич преувеличивал, завывшал градус, но по существу не лгал. – И это нормально.

– Нормально, – подтвердил Цукатов. – Если ты не меньшевик по этой части.

– Оставь... В любой традиции, куда ни плюнь, безбрачное и бездетное существование расценивается как бесцельное. Любовь – пружина механизма живой природы, если угодно, условие её существования. Ты же биолог... Она – коренной зачин всего на свете. Ещё Гесиод говорил, мол, раньше всех, и смертных, и бессмертных, родился Эрос, бог юнейший и старейший. – Пётр Алексеевич сыпал слова без запинки, словно щёлкал семечки. – И если б только греки... Читаешь «Старшую Эдду», и на тебе: шестнадцатое заклинание Одина помогает соблазнять дев – овладевать их чистыми душами и покорять их помыслы, а семнадцатое окутывает девичью душу как паутиной. Или такое наставление: никого не осуждайте за любовь – даже мудрого она ловит в сети, и тот из-за красоты впадает в безрассудство. Это предводитель асов нас поучает, знаток священных рун и хозяин вечного пира в Валгалле.

Порой Пётр Алексеевич в совсем неподобающих случаях обстоятельствах вдруг начинал вещать как по писаному, будто вместо производственной летучки в кругу технологов и печатников очутился на затейливом симпозиуме, где приветствовалась подвижность ума, а слушатель был тонок и внимателен.

– Греки, – заметил лежащий на лавке профессор, – большие были шалуны. Сапфо вон как Лесбос прославила...

– Да, – Пётр Алексеевич обтёр полотенцем лицо, – шалуны... Эллины принимали любовь в любых видах, не допуская лишь принуждения и насилия. Ну, и резвились соответственно.

– Весь их Олимп, – обозначил Цукатов знакомство с предметом, – что Зевс с Ганимедом, что Аполлон с Гиацинтом... Не обитель богов, а грязевой вулкан какой-то, лопнувшая фанина: только шагнул – сразу вяпался.

– Для греков любовь была условием стремления к красоте, благу и бессмертию. – Пётр Алексеевич воздел очи к банному потолку. – Ведь редко так бывает, чтобы... невинность соблудности и капитал приобрести. У Платона любовь начинается с отдельного явления прекрасного и понемногу, словно по ступеням, поднимается вверх, преобразаясь в созерцание вечного – того, что не возникает и не исчезает, не возрастает и не умалывается, что прекрасно в каждой мелочи и не имеет червоточины.

– Но на Руси той – с шалостями – Греции не знали. – Профессор словно продолжал разговор с самим собой, не принимая во внимание фоновый шум в виде мудрствующего Петра Алексеевича. – На Руси знали христианский Царьград и Софию – премудрость Божию.

– Так ведь не на колене голом встал Царьград! Эти платоновские ступени любви в христианстве становятся лестницей восхождения к небу. Бог есть любовь – аксиома. Однако Максим Исповедник уточняет: Бог – это всех объединяющий Эрос, который имеет естественные формы преобразования – от Эроса физического и душевного к Эросу умственному и ангельскому.

– Когда б вы знали, из какого сора... – лениво продекламировал Цукатов.

– В точку.

Было время, Пётр Алексеевич превыше всего ценил книжное знание – копил его и упивался им. Оно вызывало в нём смешанные чувства почтения и удивления, какие дарит прекрасно сделанная, но вместе с тем хрупкая, эфемерная вещь – что-то вроде китайских резных шаров, невозможным образом вставленных один в другой. С годами восторг поугас, однако чтение вошло у Петра Алексеевича в привычку, кое-что из прочитанного крепко засело в памяти и теперь, немалое время спустя, не вызывая ни обольщения, ни радостного ободрения, позволяло при случае поддерживать беседу.

– Бог не может быть творцом зла, – хлебнул из кружки кваса Пётр Алексеевич. – Как зло есть несовершенное добро, так и насилие есть несовершенная любовь. Поэтому всевластие любви должно направляться не на отрицание, а на чудесное преобразование несовершенного в совершенное, на восхождение вверх по этой вот сияющей лестнице – от физического к ангельскому.

– Православный дарвинизм какой-то, – заложил руки за голову профессор.

– Жаль, – продолжал Пётр Алексеевич, – что победившее христианство зачастую отказывается жить на таких скоростях, которые одолевают тяготение Земли, и проповедует не великую возможность преобразования Эроса, а суровый морализм, исключаяющий радость любви и изгоняющий веселый Эрос, как анчутку, из святого храма.

– Гладко чешешь, – похвалил Цукатов. – Я даже позабыл, при чём тут лягушечья кожа.

Рожки вешалки, на которую устремил рассеянный взгляд Пётр Алексеевич, были увенчаны деревянными шариками и походили на пугливые рожки улиток – прикоснись к ним, и они спрячутся, втянутся без следа в осиновую массу стены.

– Я, кажется, и сам забыл. – Пётр Алексеевич потёр влажный лоб. – Там речь шла про два царства – наше, повседневное, и тридесатое, построенное на мечтах, – которые оба нужны человеку...

– Заметь, – профессор перевернулся на живот, – ты, чёрт дери, сам свидетельствуешь в пользу моих слов. Ну, про строгость нравов старозаветной глубинки, куда растленность образованных столиц доходит не так скоро.

– Но зачем этот морализм? В святоотеческом предании Бог – запретный источник всякой любви. И эта общая для всех любовь простирается к каждому из нас наиболее соответствующим для него образом. Соображаешь?

– Ещё как, – заверил профессор. – У всякого свой вкус и своя манера: кто любит арбуз, а кто офицера.

– Может, иной раз и неказисто простирается, – не стал спорить Пётр Алексеевич, – но при этом сохраняет возможность перерождения в более совершенную форму. Если бы хоть какой-то из ликов Эроса изначально был порицаем церковью, то как «Песнь Песней» могла бы оказаться в каноне священных книг?

– О каком суровом морализме ты говоришь? Не возжелай жены ближнего – об этом, что ли? – Цукатов почесал крепкую ягодицу. – В конце концов, церковь освящает и брак, и материнство.

– Это само собой, – живо кивнул Пётр Алексеевич. – Я о другой суровости. Вот ты говорил, что на Руси не знали той Греции – с шалостями...

– Куда нам. Они, на Олимп глядя, обезьянничали, а наши лешие с кикиморами против олимпийцев – чисто младенцы. Никакой перверсии.

– Так нет же, знали! – Глаза Петра Алексеевича взблеснули. – Всё знали. Сами себе были – Олимп. В старых русских требниках закреплены на диво жёсткие правила альковных отношений. Там рассмотрены все тёмные закоулки порока, как естественного, так и противоестественного, с множеством неприглядных подробностей, будто в Декалоге и нет ничего, кроме седьмой заповеди.

Профессор с улыбкой, выражавшей неодолимый скепсис, молчал.

– Было время, в нашей типографии по заказу епархии печатались репринты богослужебной и святоотеческой литературы. Так вот, видел я репринт требника Чудова монастыря – между прочим, четырнадцатый век! – где, в частности, перечислялись обязательные вопросы, которые задаются женщинам на тайной исповеди. Боже мой, в какие бездны окаянства приходилось исповеднику заглядывать! Как дошла до греха – с законным мужем или блудом? Целуя, язык заталкивала в рот? А на подругу возлазила или подруга на тебе творила, как с мужем, грех? А сзади со своим мужем? Сама рукою в своё лоно пестом, вошпанным сосудом или чем тыкала? Соромные уды лобызала? Скверны семенные откушала? Вот так буквально, этими словами... Представляешь! С таким же пристрастием опрашивались и мужчины. За каждое отступление от законов естества полагалось два года сухоядения или год поста.

– И правильно. – Цукатов сел на лавку. – Я бы ещё плетей добавил. Пошли-ка поддадим парку.

– А договаривались Тартюфа не включать... – махнул рукой Пётр Алексеевич.

Прихватив замоченные веники, зашли в парную. Профессор плеснул из ковша на зашипевшую каменку и нагнал такого пару, что через миг ноздри им словно опалило пламя.

Вечером приехал Пал Палыч смотреть пчёл. На днях надо было качать мёд – тянуть дальше некуда, Медовый Спас отгуляли ещё на той неделе. Переходя от улья к улью, Пал Палыч снимал с домиков крышки, доставал рамки из магазинов, изучал сквозь сетку, ставил на место; Ника, сестра Полины, тоже в широкополой шляпе с сеткой, окуривала пчёл дымарём.

Закончив осмотр, Пал Палыч вознамерился тут же уехать, однако Пётр Алексеевич с Полиной уговорили его остаться на ужин.

– В шашти домиках можно хорошо мёда взять, – сообщил Пал Палыч за столом. – А в двух пустые магазины – только на зиму сябе натаскали.

– Сколько дадут, столько и дадут – не пропадём. С прошлых качек ещё всем по ведру стоит. – Александр Семёнович, отец Полины и Ники, не бился за образцовое хозяйство, просто радовался окружающей его жизни, не переставая в свои годы удивляться тому, что трава – зелёная, облака – невообразимые, кошка – подлиза, а люди – такие разные: бывают из чистой стали, а бывают *этастранцы*.

– Пал Палыч, почему у вас тарелка пустая? – следила за трапезой Полина. – Положить ещё мяса?

– Ня надо. Я рыбинку возьму, – Пал Палыч подцепил вилкой ломтик малосольной сёмги, – мне рыбинка понравилась.

– Всё на старой своей ездить? Забыл, как ей название... – Александр Семёнович, пустив по пергаментному лицу весёлые лучики морщин, хлопнул гостя по плечу.

– «Ода», – подсказал Пал Палыч.

– Железный механизм, а его поэзией назвали, – не в первый раз отметил Александр Семёнович. – Ей, поэзии твоей, сто лет в обед – а ну как развалится?

– Так уже разваливается! – со смехом согласился Пал Палыч. – Гремит, как вядро, тормозов, считай, нет, сзади фонарь побит и дверь – та, что для Нины, пассажирская – снутри ня открывается. Только снаружи.

– А что зять в городе тебе машину не присмотрит? – Александр Семёнович ковырял вилкой в тарелке солёный огурец. – Иномарку какую – понадёжнее. Вроде сейчас со вторых рук можно взять недорого.

– Мне забугорку ня надо, – Пал Палыч помотал головой. – Я ж по кустам, по грязи...

– В Новоржеве, наверно, иномарку – несподручно, – предположил Цукатов. – Ей техобслуживание по регламенту подавай, а где тут расходники взять? Быстро тем же ведром станет.

– Я это ня знаю, ня занимался. Мне по кустам надо... И собак посади туда. – Пал Палыч намазал на булку масло и положил сверху ломтик сёмги. – Вчера свёз собак в Голубево, чтобы побегали, лес ня забывали, так в салоне вонь – хоть и застелил брезентом, а псиной тянет.

– Профессор тоже собаку в машине возит, и ничего – японка его не обижается, – заметил Пётр Алексеевич. – Все охотники так. Или ты, – Пётр Алексеевич повернулся к Цукатову, – одеколоном на Броса фыркаешь?

Ответом профессор Петра Алексеевича не удостоил – ну ляпнул глупость, бывает.

– У городских, может, время есть – полдня машину чистить, – стоял на своём Пал Палыч. – А я ж ня буду, мне надо бязать дальше: надо кроликов кормить, надо дров поднести, надо кочегарку топить... А если это задвинуть, так и всё поползёт. Жана опять же кричит: что кочегарка холодная, что собаки ня кормлены, что у поросят ня убрано! Надо всё успевать. – Пал Палыч улыбнулся. – Но я ня жалуясь. Наоборот – горжусь. Жизнью горжусь, что так прожил. И ни на кого ня обижаюсь – всё слава Богу.

– Правильно, – Александр Семёнович махнул рукой и с грохотом уронил на пол приставленную к лавке трость. – Я помню, как мы жили... Что говорить? Так, как теперь, изобильно и сытно, никогда прежде не было. Стол – ломится! Телевизор – пожалуйста! Тряпки – ка-

кие хочешь! У меня в буфете коньяк стоит – французский и армянский. Чёрт-те что! Хочешь, Паша, коньяку?

– Ня надо, – решительно отказался Пал Палыч.

– А иных послушать – всё не так, всё недовольны. Душно им, свободы нет... А куда больше: помои направо-налево плещут, Власова карамелью мажут, и никто их за это на кол не сажает. – Александр Семенович нагнулся за тростью и поставил её на место. – Я бы посадил. Ругают страну, ругают власть, а сами как пряники в глазури – лоснятся! Что говорить – у меня уже и внуки при машинах. Ещё не замужем, а обе за рулём.

– И мои тоже – и у дочки, и у зятя по машине... – поддержал разговор Пал Палыч. – Одну, правда, нынче продали. Трудно им в городе копейка даётся, на квартиру копят – того ня хватает, сего ня хватает... А кто вас гонит в города? Кто няволит? Сами за хорошей жизнью едете. А это ложно. Хорошая жизнь в деревне – природа, речка, кусты, комары, сляпни, зямля, где тябе работать... – Пал Палыч в широком жесте вытянул над столом руку. – А тут тябе реклама – тренажёр. А зачем тябе тренажёр? Возьми лопату – копай. Такой же тренажёр. Только лучше – там деньги плотишь, а тут тябе заплотют. Сами и виноваты... Громоздим города, в петлю лезем, а потом плачем. Нам только бы подальше от своей природы...

– Город или деревня – не в этом дело. – Пётр Алексеевич не любил, когда застольный разговор сходил к брюзжанию. – Надо, чтобы у каждого горел закон в сердце, точно тавро выжженное, чтобы из поколения в поколение переходил, как завет крови, чтобы в позвоночный столб вошёл и стал свидетельством породы... Вот это и будет наша природа внутри нас, которая спасёт.

– Ты о чём? – Полина поставила на стол чайник.

– О понятиях. Тех, что кровь до голубого цвета возгоняют. Ничего нового – архаика. Должны быть в сердце человека четыре цитадели: честь, долг, семья и собственность. – Пётр Алексеевич четыре раза рубанул ребром ладони воздух и тут же снова рубанул: – Да, милые мои, честь, долг, семья и собственность. По значимости – именно в таком порядке. И порядок этот незыблем и ревизии не подлежит, как табель о рангах, как старшинство карт в колоде: туз бьёт короля, король – даму, дама – валета... А в игры, где старше всех шестёрка, сам не играю и другим не советую.

– И как эти понятия друг с другом соотносятся? – заинтересовалась Полина. – Кто кого бьёт?

– Имением своим, добром и златом, можно пожертвовать ради семьи, – Пётр Алексеевич машинально застёгивал и расстёгивал пуговицу на кармане рубашки, – семьёй – ради долга, долгом – ради чести. И никогда иначе – честь в жертву долгу, семье и собственности приносить нельзя. Да-да, именно так, даже семье, – добавил Пётр Алексеевич, уловив во взгляде Полины протест.

– Тут мне подумать надо, – почесал затылок Александр Семёнович. – С ходу не соображу.

Пал Палыч покачал головой:

– А я, Пётр Ляксеич, ня согласен. Ради сямьи на всё можно пойти – чтобы, сказать к примеру, дтей и жёнку с бяды вытащить...

– Как правило, спасение семьи неотличимо от дела долга и чести. Они здесь рука об руку – размолвки нет. Речь не о противопоставлении, которого в обычной жизни и быть не может, а о старшинстве значения

того или другого опорного столба, когда весь мир кругом трещит. – Пётр Алексеевич принял из рук Полины чашку чая. – А вы, Александр Семёнович? Вы же сами говорите: «Была бы страна родная...» Это ведь для вас первейшая заповедь.

– Да, была бы страна, – согласился Александр Семёнович. – Всё остальное – вторым номером.

– Вот видите...

– Я всё же про семью думаю, – колебался Александр Семёнович. – Смог бы я дочерьми, – он кивнул на Полину с Никой, – ради чего бы то ни было...

– Я бы ня смог. – Пал Палыч горячо потёр одной широкой ладонью другую. – Тут однозначно.

– А есть пример такой нужды? – вздёрнул Александр Семёнович клин реденькой бородки. – Чтоб для наглядности.

– Сталин и его сын Яков, – отчеканил Пётр Алексеевич. – Пленного фельдмаршала Сталин не поменял на пленного сына.

Повисла тишина. Пётр Алексеевич улыбался – что-что, а на брюзжание разговор уже никак не походил.

– Или вот – из литературы, – добавил он, – Тарас Бульба и предавшийся ляхам Андрей.

Профессор в гуманитарный спор надменно не вступал – под чай раскатать его на дебаты было трудно.

– Хочу завтра с собакой по полям и по лесу пройтись. – Цукатов надкусил дольку мармелада. – Вы, Пал Палыч, говорили – куропатка появилась.

– Нынче много куропатки. По сравнению – что было, и говорить нечего. Небо и зямля. – Пал Палыч обрадовался перемене темы. – Пару лет ня видно было, а тяперь и в Залогe, и тут, у Телякова, где мы с вам прошлый год ходили и никого ня подняли... Нынче идёшь, и прямо с под ног выводком слетают. Туда и ступайте, к Телякову, тут ня далеко.

– А мы с вами на Селецкое? – уточнил завтрашний распорядок Пётр Алексеевич.

– На Сялецкое, – кивнул Пал Палыч. – По протокам на лодке походим – один на вёслах, другой стреляет. Дело вам знакомое.

Пётр Алексеевич взял из стоящей на столе корзинки со сладостями краплённое кунжутом печенье. Подержал и положил на место – печенье было лишним.

Качать мёд решили в понедельник – раньше Пал Палыч своих дел не разгребёт.

* * *

Шло время – обсыпали иву шелковистые пуховые комочки, зазеленела на кустах и деревьях глянцева молодая листва, распустились и облетели нежные ветреницы и пролески, у кудлатого лесовика в бурый волос вплелась прозелень. В свой срок вылупились из яиц восемь пушистых, жёлто-серых в чёрных и рыжих пестринах цыплят. Только выбрался из скорлупы последний, тетеревята встали на ноги и вслед за рябухой, ещё нетвёрдо, спотыкаясь и заваливаясь, засеменили в зелёное лесное густотравье, звенящее и стрекочущее на солнечной опушке. Заботливая мать показывала малышам кормовые места, учила ловить кузнечиков, гусениц, пауков и прочую ползучую и скачущую мелочь; чувствуя опасность, беспokoйно вскрикивала, и птенцы тут же рассы-

пались по траве, затаиваясь от неведомых врагов. На дневной отдых и на ночь тетёрка собирала малышкой под крылья, согревала своим теплом в ненастье и на предзвездном холодке.

После луга, колышущегося в знойном мареве, и лесной опушки с одиноко цветущей лешухой¹ настал черёд ягодников: уже одевшиеся в новое буровато-пёстрое перо птенцы сперва попробовали душистую землянику, за ней сладкая малина до поры сделалась их главной пищей, а затем предстояло им узнать пути в зреющие черничники и добраться до моховых болот с крепкой брусникой и раскатившейся бусинами на мягкой подстилке клюквой. Из всего выводка больше других доставляли хлопот матери три петушка – бойкие, любопытные, озорные, они то и дело норовили убежать от остальных, исследуя открывшуюся перед ними жизнь и ничего не зная о таящихся вокруг опасностях. Пять курочек были куда пугливее и тише – они трепетали перед неизвестным миром, страшась и на полшага отойти от матери.

Однажды – тетеревята немного подросли и уже научились короткими стежками перепархивать с места на место – один из непоседливых петушков, не рассчитав сил маленьких крыльев, случайно налетел в лесу на рыжего пушистого зверя, чью длинную морду с чёрным кожистым носом подпирала белая меховая манишка. От испуга перед чудовищем петушок мигом порскнул в траву и, слившись с фоном, припал к земле и затаился. Откуда ему было знать, что по чутью лиса легко отыщет и его, и всех остальных попрятавшихся тут и там цыплят. Спасла птенцов мать, отважно встав на пути голодного зверя – тяжело, точно перебитое, волоча по земле крыло, она с клохтаньем потрусила в сторону от выводка.

Соблазн был велик – лиса пустилась за тетёркой, предвкушая лёгкую добычу. Несколько раз ей казалось, что через миг, вот-вот – ещё один прыжок – и она схватит раненую птицу, но та каким-то чудом вновь и вновь изворачивалась, ускользала и кособоко бежала дальше, метя по траве сломанным крылом.

Охотничий пыл бил зверю в сердце, он забыл про птенцов и желал одного – скорее достать рябуху, вонзить зубы в её тёплое трепещущее горло и ощутить во рту сладкий вкус ещё живой, туго брызнувшей крови. Но ему по-прежнему никак не удавалось ухватить проклятую птицу – всякий раз она оказывалась проворней и, метнувшись в сторону, избегала клацающей пасти. Так мать, в отчаянии рискуя жизнью, уводила хищника всё дальше и дальше от затаившихся цыплят.

Почувствовав, что уже довольно сбила зверя с пути и он теперь навряд ли вернётся к беззащитному выводку, рябуха перестала притворяться. Когда лиса в очередном прыжке бросилась на добычу, зубы её схватили пустоту – к её немалому удивлению, тетёрка без труда оторвалась от земли и, быстро орудуя крыльями, скрылась в лесу за зелёной листвой. Сбитый с толку зверь замер, проводил оторопелым взглядом улетающую поживу, потом сел, пощёлкал зубами, лоя в рыжей шерсти блоху, и потрусил дальше в надежде всё же раздобыть сегодня что-то на обед.

Однако и помимо хищного зверя в огненной шубе хватало в лесу злосчастья – он полон был угроз и опасностей, встреча с которыми далеко не всякий раз заканчивалась столь удачно. Вскоре одну из пугливых молодых тетёрок поймала у малинника и унесла неведомо

¹ Здесь – дикая лесная яблоня.

куда коричневато-дымчатая, сверкающая полосатым голубым пером в крыльях сойка, чьё нарядное благообразие придавало ей обманчиво приветливый и безобидный вид. А следом расклевала вторую цыпу-пеструшку ненасытная и наглая ворона, от самой природы имевшая злодейскую наружность. Уравнялись у рябухи детки, остались в выводке шесть тетеревят – три косачика и три курочки.

Когда поспела брусника, взрослеющие петушки уже наполовину нарядились в чёрные перья, а на хвостах у них обозначились загибы будущих косиц. И без того бойкие, теперь они всё дальше отходили от матери, показывая всем видом, что больше не нуждаются в опеке, что стали уже взрослыми, самостоятельными, важными птицами.

Как-то раз тетеревиная семья кормилась в черничнике у лесного озера, всё ещё полною спелой, уже опадающей ягоды. С ночи в лесу то и дело раздавались странные грохочущие звуки, которых прежде ни рябуха (отголоски этих раскатов смутно брезжили в её сознании, как вид встреченных по весне длинноклювых вальдшнепов, но было ли то истинным воспоминанием или только грёзой – она не знала), ни тем более её тетеревята не слышали. Отрывистые гулкие удары походили на маленький нестрашный гром, однако в небе не было туч и над лесом не сверкали молнии. Гремело изредка и далеко, поэтому звуки не очень тревожили тетёрку. А с рассветом и вовсе стало тихо. Черничник порос пахучим багульником, из-за него рябуха не сразу заметила собаку – эти существа и до того появлялись в лесу, иногда сопровождая людей с корзинами, а иногда труся по лесным дорогам, уткнувшись носом в землю, без видимого дела. Она тревожно, но негромко вскрикнула. Кормящиеся тетеревята увидели белое в чёрных пятнах чудище с отвислыми ушам – зверь, кося глазом в их сторону, по дуге обходил выводок стороной.

Одно мгновение – и молодняк *запал*, вжавшись в мох среди черничных кустов. Пробежав ещё немного, собака вдруг тоже замерла и, устремив поверх багульника блестящий взгляд туда, где затаились птицы, как буря бросилась вперёд. Рябуха, хлоптая, взлетела, за ней дружно взвились уже вполне освоившие крылья великовозрастные детки. Только теперь – собака отвлекла их – они увидели человека; он был огромен и ужасен, как медведь, как лесовик, но те были свои, понятные, а этот – главный страх обитателей чащи. И тут же грянул гром, и следом – снова. Одна из молодых тетёрок, роняя перья, кувырком полетела вниз и упала на землю. Второй выстрел достал петуха – тот ощутил внезапный жар в боку и небывалую тяжесть в теле, но удержался на крыльях и изо всех сил поспешил за братьями и сёстрами.

Мать, пролетев до края бора, опустилась с выводком в густом чернолесье, отделённом от старого сосняка песчаной бороздой-канавой. Дальше пошли искать укрытие пешком. Подстреленный косачик, нахохлившись, тяжело дышал, прихрамывал и едва поспевал за роднёй.

* * *

Из перелеска Цукатов вышел на уже десятки лет не паханное поле, окутанное сухим ароматом поздних, местами ещё пестрящих цветами трав. Жёлто-зелёный простор впереди и слева ограничивал лес, опушённый по краю ивовыми кустами и молодой осиново-берёзовой порослью, справа запустелую ниву ограждал от большака строй тополей и сплошная стена сирени, отчаянно цветущей в июне, а теперь тём-

ной и безвидной. Неподадалёку, временами исчезая в высокой траве, как пловец в волнах, потом вновь появляясь, бежал Брос – показывал всем своим видом, что-де не на прогулке, что работает: то вставал свечкой, стараясь уловить носом верхние воздушные токи с говорящими запахами, то начинал бороздить мордой землю в поисках горячего следа.

Усердие у пса было – не хватало навыка. Прихватив что-то чутьём, он стремительно метнулся влево, к лесной опушке, в один миг перейдя с поиска на *потяжку*. Мелькая в траве, крутя хвостом, усвистал далеко и, опьянённый азартом, не дождавшись хозяина, поднял стайку куропаток метрах в шестидесяти от Цукатова; тот машинально вскинул ружьё, но стрелять не стал – пустое. Куропатки низко над землёй перелетели за кусты и исчезли из вида. Профессор грозно подозвал собаку и сделал выговор: «Это что такое?» Брос виновато опустил морду, нервно повертелся на месте, переступил с лапы на лапу.

Пошли по полю дальше. Сперва пристыженный пёс работал поблизости, ходил челноком перед хозяином туда-сюда, а потом – опять двадцать пять... Поймав на чутьё след, Брос потянул вперёд и вправо – наискось к большаку, скрытому плотной оградой из лохматых сиреневых кустов. Оторвавшись от хозяина метров на полста, бестолково, не под выстрел, поднял из травы ещё один табунок куропаток. Птицы, орудуя махалками, дружно ушли к лесу и скрылись в берёзовой поросли. На этот раз виновато подошедшего с поджатым хвостом пса Цукатов чувствительно стебанул по спине поводком: «Куда бежишь? Сколько можно!» От удара Брос сдержанно подскулил, присел на задние лапы, потупил взор и всем видом выразил полнейшее признание вины. Собачью душу терзала не боль от порки, а невыносимый стыд – огорчён обожаемый хозяин, опять промашка, не угодил...

Несмотря на суровый окрик, Цукатов не испытывал большой досады: куропатки показались на глаза – уже дело. И пусть Брос в поле пока работает не очень, зато отлично разыскивает подстреленную дичь. Ничего, собака молодая, ещё выучится, постигнет науку и защитит магистерский диплом...

Между тем Брос, вновь прихватив какой-то запах, перешёл на *потяжку* и сквозь девственные травы выюном построился вперёд. Из-под собачьего носа с громким чирканьем выпорхнул бекас, которого Цукатов совсем не ожидал здесь встретить – место этому длинноносому кулику было не в поле, а на сыром болотном лугу. Стремительный, как молния, бросаясь из стороны в сторону, бекас быстро набирал высоту и уходил влево, к осиново-берёзовому мелколесью. Цукатов мигом вскинул ружьё, выцелил и выстрелил. Бекас метнулся вбок. Цукатов тут же вдарил из второго ствола. Оборвав полёт, кулик косо рухнул в траву.

Брос, едва сдерживая нервную дрожь, стоял в ожидании команды. Наконец хозяин велел подать. Пёс радостно сиганул в траву и через мгновение уже тащил в словно бы улыбающейся пасти добычу – весь его ликующий облик возвещал: «Как ловко мы сообразили! Экие мы молодцы!» Цукатов принял у собаки трофей, снял с плеча лёгкий рюкзачок и бросил туда птицу. Добыча была почётной – быстрого, вёрткого, мечущегося в полёте бекаса взять непросто, а он, поди ж ты, взял.

Какое-то время побродив по полям и просёлкам, охотник и собака отправились к лесному озеру через мшистый бор, украшенный можжевельником, молодыми дубками и кустистым орешником. И не зря – к вящей радости Цукатова, в лесу Брос сработал образцово: учуял, обогнул и поднял в черничнике на охотника кормящихся тетеревов. Одним

выстрелом Цукатов уложил молодую тетёрку, а вторым, в угон, достал петуха, но тот всё же ушёл за можжевелевую поросль в бор. Собака, пущенная следом, отыскать его не смогла. Должно быть, спасло косача плотное перо: в стволах была «семёрка» – Цукатов, отправляясь с Бросом на ружейную вылазку, в лучшем случае рассчитывал на встречу с куропаткой, вяхирем или любопытным рябчиком. А тут – чистый приз. Хвала собаке и хозяину.

– Вот и говорю: дружил со Жданком, который председатель общества – ня нонешний, другой... Тот, Жданок, в позапрошлом годе умер.

Эту историю Пал Палыч вполголоса начинал рассказывать ещё в лодке, но там было не разговориться: само дело требовало тишины, да и отвлекали взлетающие из камышей и прибрежной гушины утки. Зато теперь, в машине, с тремя кряквами и двумя свиязями в багажнике, ничто не мешало вычерпать до доньшка накатившее воспоминание.

– Дружил, когда ещё на «Объективе» работал, – продолжал Пал Палыч. – Он как приехал к нам, его сразу – председателем охотничьего общества. Он белорусский техникум закончил, потом Тимирязевскую академию – умный был. Как теоретик умный – любую птицу опознает или мышь какую, а вот в практике – ня очень. Так вот, он охотникам говорил: «Завидуйте, что у меня такой друг, у вас в жизни такого друга ня будет!» Он их вроде как попрекал... Но для меня это в хорошем смысле. Мне и приятно, и неловко – погано слушать, когда хвастают. Он сядет в обществе и в глаза им так: «Вы завидуйте, что я с таким человеком дружу».

– Это он про вас? – можно было не спрашивать, но из любезности Пётр Алексеевич спросил.

– Про меня. А я сiju – нос в пол – и думаю: а ведь рано или поздно, парень, ты меня продашь. Что делать? Буду ждать случай этот... Так он всё время говорил: «мой друг» – а я молчал. И даже иной раз скажет ня только, мол, друг, а как брат родной. Понимаете? Так и говорил: «Пашка – брат родной». – Пал Палыч, выгнувшись на сиденье, расстегнул патронташ, вытащил его из-за спины и бросил назад, к зачехлённому винчестеру. – Потом я пошёл в милицию работать. А Жданок такой – ня очень чистоплотный на руку. У него была в обществе егерь – Марина... Женщина была егерем, вела иной раз за него документы. И он сообразил быстро – двадцать семь рублей с кассы свистнул. Ня свистнул, так – присвоил. Сейф-то с кассой у него. А тут ОБХС – проверка... И он на неё хотел – на Марину, а ему пояснили, что егерь – ня материально ответственное лицо. Ня важно, кто украл, а материально ответственный – ты. И возбудили уголовное дело. Он мне пожаловался. А я в милиции работаю. Я говорю: «Собирай первичные коллективы – макаровских, жадрицких – пусть бьют на поруки». А потом к Нарезайлову, к следователю, который дело открыл, подошёл и говорю, мол, так и так, у нас в области шесть-семь человек таких, как Жданок, чтоб с Тимирязевской академии. Ня педагогический псковский биолог, которых учителями готовят, а настоящий... Если можно как-то сделать, чтоб на поруки первичного коллектива, то возьмут на поруки.

– Это за двадцать семь рублей всё? – Пётр Алексеевич отключил понижающую передачу – выехали на крепкий просёлок, прибрежная луговая болотина осталась позади.

– Так уголовное дело возбудили. Это сейчас – ня деньги, а тогда за три рубля сажали. – Белобрысые брови Пал Палыча сошлись над пе-

реносицей. – В восемьдесят пятом я поступил в милицию... А это был восемьдесят восьмой или восемьдесят девятый. Советские ещё времена – ня девяностые. Маринка по сей день живая – ня даст соврать. Ей же тоже неприятно – хотел на неё повесить... А ей это зачем – женщине? – Смысл вопроса подвис в загадочной неопределённости. – Я, значит, попросил... А я прежде, помнится, говорил вам, Пётр Ляксеич, что чувствовал – страна разваливается. В восемьдесят третьем уже чувствовал. Мамке рódной сказал: мам, я ня знаю, что будет, но я знаю точно, что сельское хозяйство так упадёт, что больше никогда ня подыметя. В городах – ня знаю: то ли будет голод, то ли ня будет голода, но сельское хозяйство – сто процентов... Вот так ей и сказал. Но только это ня про то... – Пал Палыч махнул рукой, словно отгонял назойливого комара. – Почему я – подвожу итоги – про мамку рассказал? Да потому что я пошёл к Нарезайлову просить: страна будет разваливаться, а общество охотничье как-то надо сохранить. Зверя сохранить – за счёт зверя можно выжить. Что нам революция – мы в лесу, мы на звере протянем. Жданок прядседатель, лицензия есть – а ня будет лицензии, так нам и ня надо. Понимаете? Я его ня только как друга защитить хочу, а уже как безопасность, как на будущее... – Пал Палычу казалось, что ему недостаёт слов, на лице его проступало внутреннее усилие, но он справлялся. – Вот я и сказал Нарезайлову. Сказал, а он в ответ – молчок: ни да, ни нет – как ня слышал. А пярэд этим за год примерно мне сотрудник уголовного розыска говорит: «Такие, как ты, долго в милиции ня работают». Ни с того ни с сего – ляпнул и пошёл. Но я взял во внимание: думаю, а чего такие, как я? Ня пью, ня курю, ня ворую, ничего дурного ня делаю, работаю честно, работа нравится... Выправка армейская мне по душе, а милиция – та же армейская выправка, опрятно всё... А тут после Нарезайлова, следователя-то, начальник уголовного розыска встречает меня и говорит: «Мы людей в тюрьму сажаем, а он их выгораживает». Ня сказал, что, мол, ты выгораживаешь, но дал понять. Обозлённый был. Я сразу сообразил – стало быть, следователь сдал меня и они... Вот эти слова насторожили. Потом уже, время спустя, на дежурстве как-то смотрю – идёт с автостанции мужик. Ну, думаю, погляжу на автостанцию да на того мужика. Он мне ровесник был – ня мужик, парень. А он, как я поближе к нему подошёл, вот так протягивает авоську с дырками, – Пал Палыч протянул к ветровому стеклу руку, – и говорит: «Купи. Я ня местный, с Островского района, мне деньги надо». Я так – р-раз – гляжу, а там три-пять килограмм... этих шашечек – вот такие, – Пал Палыч изобразил на пальцах размер, – как хозяйственное мыло. Я поглядел на свету под фонарём, а там в торце – дырка.

– Под взрыватель? – сообразил Пётр Алексеевич.

– Да! Понимаете? Я в форме милицейской, а он мне талдычит, мол, я ня местный, приехал, надо продать... И у меня сразу – как с ног до головы дерьмом облили – обида, что я живу честно, и за это меня хотят посадить. Ужас какая обида...

– Вы поняли, что подставляют вас?

– Да, проверяют, хотят посадить. Плюс я уже предупреждён: мы тут людей сажаем, а ты выгораживаешь... Совпадает всё – по тому разговору. И так обидно стало... Сразу Нину вспомнил: вот она с двумя ребятами сейчас, а меня посадят... Она домой уедет в Локню, а там ей батька фуфулей навесит – батька ня любил меня: зачем ты замуж пошла в Новоржев? Думаю, и этой достанется, жизнь будет сломана, и я лишусь ребят... А потом такая вдруг смелость – прежде чем сесть, давай

поиграем! И сразу в голове: ах ты, сучок, сейчас я тебя собью с инструкции! И говорю ему: «Ты знаешь, мне столько хозяйственного мыла ня надо. Сейчас уже стиральные машины – куда его? А вот, – говорю, – детское мыло и земляничное (тогда два сорта было – детское и земляничное), чем руки моют, взял бы... А хозяйственное – тяперь корыт нету, мне ня надо». Он сразу так – р-раз – рот, – Пал Палыч открыл потешно рот, – и стоит как оцепеневши. Сперва он меня оглоушил, что мне стало обидно да больно, и Нину, и ребят всех перябрал – это всё секундное было дело – тяперь и он рот открыл. Стоит, молчит. Руку так держал с авоськой, протягивал, – рука Пал Палыча опять вылетела к ветровому стеклу, – а тут опустил уже. Я тебя, думаю, сучонок, проверю сейчас... Мне от скамейки на автостанции надо пройти пятьдесят метров. Это для того, чтобы потом обернуться и посмотреть – идёшь ты за мной или нет. Если идёшь, я тебя возьму, потому что ты на самом деле ня подставной. А если ты подставной, то остальные, кто с тобой, или за автостанцией, или внутри автостанции – только я возьму сеточку, и меня сразу за руку... С поличным. А я думаю: сейчас заведу тебя подальше и там возьму – значит, ты чистый парень, дурачок, лопух ты. Приехал, милиционеру динамит предлагает – это что, умным надо быть? Сажать уже нельзя такого дурака, раз он совсем без понимания.

– А что ж вы сразу его не повинтили? – Пётр Алексеевич аккуратно объехал выбоину на гребёнке, обнажившую угрожающе торчащие булыжники.

– Зачем мне это? Чтобы меня потом ещё раз подставили? Только уже ня через взрывчатку, а тяперь подсунут наркотики... Ты если задумал, ты меня посадишь, а мне надо было сделать так, чтобы ты меня взял за дурака. Чтоб я вышел дурак – понимаете? По военному делу я танкист, механик-водитель. Я со взрывчатым веществом, если будут проверять, – никакого отношения. Мы ня изучали это, механику ня надо. Там кумулятивные снаряды... Вот я для чего так сделал. Я ж знал – оружейка у нас вся проверена – нету у нас в оружейке ничего такого. Это значит, они попросили через Псков, минуя начальника милиции – наша уголовка с их уголовкой: давайте, мол, посадим этого, помогите нам. Я и сработал ня на своих из уголовки – те меня знают, – а на псковских, чтобы они сказали: а кого ты нам тут подсунул? Дебила, который ня мог отличить взрывчатку от мыла, а ты нам полгода твердил, что тябе его посадить надо. Те же тоже, со Пскова, ня имеют права без начальника милиции, без прокуратуры, самовольно... ня то что сажать – проверять даже. Какое ты имеешь право проверять? Они хотели, видно, под это у меня обыск сделать, ещё что-то найти. А у меня чего только дома нет – и сети, и капканы, и кабарина, и лиса, и барсук, и шкуры бобровые, и струя... Только динамита ня хватает. – Пал Палыч замолчал, сообразив, что отвлёкся. – Я, значит, пошёл. Через пятьдесят метров оборачиваюсь, а он сидит и смотрит на меня. Уже на скамейке – сел. И сразу в голове работает: нельзя больше оборачиваться, потому что если заподозрят, что я дурку включил, то пойдут на второй шаг... И я ушёл. – Пал Палыч торжественно посмотрел на Петра Алексеевича. – Вот так решил – поглупей да пониже... Чего ты суёшь мне, милиционеру, а не пошёл продавать на рынок? На рынке-то народ ходит. А они как выбрали? Автостанция работает до шести, а я с семи только заступил на работу. И вот в это время – семь часов – они поймали меня. Никого нет на автостанции, но у них есть возможность зайти – договориться с начальником... Понимаете как? А чего ты приехал с другого райо-

на продавать? Притом что автобусы больше ня пойдут? Я ж это на усмотал. – Похоже, история подходила к концу – Пал Палыч уже сметал со скатерти крупинки. – А потом я ещё что сделал – ходил по злачным местам. Нам был приказ – проверять. Злачные места – это кочегарки, где все бомжи и такое прочее – заходят в кочегарки и греются, ну и с кочегарами... Там и выпивка, и всё. Я прошёл – его, с авоськой этого, нигде нет. – Воспоминание, словно обрубленное по краю, исчерпало себя. – Вот как я Жданка вырубал, а себя подставил.

– Да, – спохватился Пётр Алексеевич, – так что там Жданок? Четвертовали его в конце концов за двадцать семь рублей?

– А я скажу. Нарезайлов, следовательно, так говорит: «Я сам приду в общество». Сходил. Потом мне: «Соберите первичные коллективы, с колхозов охотников, и напишите бумагу – ходатайство, что бярёте на поруки». Взяли на поруки и дело закрыли. И суда не было. А про первичные – это я и подсказал Жданку.

– Смотрю, вы все ходы знаете. Что под землёй, что под ковром. – За разговором Пётр Алексеевич не заметил, как дорогу с двух сторон обступил Жарской лес – до большака уже оставалось недолго.

– В батьку, – качнул выдающимся носом Пал Палыч. – «Семь раз горел – ня разу ня строился. Прошу любить и жаловать!» Батька мой так говорил. А значит, и мне завещал это. Соображаете? Кровь-то одна. Я был честным, но всегда умел вот это вот – словчить. Спасибо батьке.

– Вы говорили, что ждали от дружка предательства, – напомнил Пётр Алексеевич. – Дождались?

– Дождался. Но то отдельная история.

Странное дело – Пал Палыч замолчал. Мастер спонтанной речи, он победил в себе слова.

* * *

На этот раз беда, обдав косачика ледяным дыханием, прошла мимо – спустя время раны на нём зажили, хромота ушла, мелкая дробь заросла в теле. Вскоре он уже не отставал от остального выводка и наравне со всеми перелетал с ночёвки на ягодные места утренней кормёжки, оттуда на днёвку, а потом на кормёжку вечернюю.

Когда наступила осень, три брата полностью оделись в чёрное перо, на хвостах у них завились лиры, и косачи, твёрдо устремившись во взрослую жизнь, оставили мать и сестёр.

Между тем зарядили дожди, лес из зелёного стал многоцветным, пожухла трава, жёлтый, красный, бурый лист кружил в воздухе и покрывал землю пёстрым опадом, косматый лесовик уже не хлопал в ладоши, когда затягивал свою монотонную песню. Всё чаще теперь тетерева садились на берёзы, не находя корма в ягодниках, а когда залёг медведь и выпал снег – совсем ничего не оставалось, как довольствоваться берёзовыми серёжками и почками, на худой конец – сосновой хвоей.

Перелетая по оголившемуся, притихшему и опустевшему лесу с места на место, обособившиеся от выводка петухи однажды встретили матёрого косача – восхищённые его бывалым видом и уверенной повадкой, выбрали поляша себе в наставники, перенимая у него навыки и участь всему, что было им в новинку. Теперь они повсюду, точно привязанные, следовали за ним, как прежде следовали за матерью. Ранним утром, едва только просыпался поляш, взмахивал крыльями и поднимался в воздух, вслед за ним взлетали три петуха, и все отправлялись

за реку, к берёзовой роще на холме, чтобы поклевать серёжки, спящие почки и нежную кору на молодых ветвях, не обращая внимания на лис, если на них не обращал внимания вожак, и без любопытства провозжая взглядом лосей и кабанов, если те объявлялись поблизости.

Снег лёгкой пеленой укрыл лес и поля. Морозы были не крепки, но наметённый белый покров, похоже, лёг надолго. Как-то утром, по пути к своей роще пролетая над заснеженным лугом, искрящимся под лучами восходящего солнца, заметили косачи, что уже сидят на их берёзах, повернув клювы к сияющему горизонту, две пары тетеревов. Собратья в ледяном оцепенении встречали зарю. Спокойствие их ободрило косачей – им нечего делить, лакомых серёжек в роще хватит всем. Не заметили они только длинных жердей-подчучельников, на которых были высажены на ветви безжизненные чужаки. Тяга сбиваться в стаи, которая зимой охватывает тетеревов и подталкивает друг к другу, позвала косачей подсесть неподалёку от застывших пришлецов.

Не успели птицы расположиться, как из прогляда шалаша-скирды, устроенного под берёзами и крытого еловым лапником, блеснула молния и грянул выстрел, и тут же снова – молния и гром. Старый поляш, уже нацелившийся на свисающую перед ним серёжку, чёрным комом рухнул вниз. Второй заряд, сухо щёлкнув по сучьям, прошёл мимо уже однажды подстреленного молодого косача – на этот раз дробь не задела его.

Сорвавшиеся с веток братья в ужасе забили крыльями и опроретью понеслись из рощи обратно в лес. Напуганные и потерянные, до вечера не могли они успокоиться, метались по местам ночёвок и днёвок в поисках своего вожака, но не было его нигде – ни на земле, ни на ветвях, ни в небе. Вторя их тоске, подвывал в бору лешак – гонял по округе зайцев.

Через несколько дней, повинуясь стайной тяге, братья нашли новую компанию – присоединились к табунку разновозрастных тетеревов и остались вместе с ними коротать недолгие зимние дни и непомерно растянувшиеся ночи.

Вновь посыпал с неба снег, на этот раз густой и щедрый, а вслед за тем схватила округу уже позабытая за прошлые годы лесными жителями зимняя стужа. Ночевать на деревьях и в сухой траве стало холодно, и теперь тетерева сразу после вечерней кормёжки падали с берёз в наметённые белые гривы и, пробив телами снег, хоронились, укрытые от мороза и ветра, в глубоких лунках, где дремали до рассвета.

В один из дней, когда игривая метель заносила кусты с поваленными в бурелом деревьями, обращая их в череду покатых сугробов, тетеревиная стая отправилась на вечернюю кормёжку в облюбованный березняк. В полёте они заметили внизу, под соснами, идущего на лыжах человека и тут же заложили широкий круг, чтобы облететь опасность стороной. Человек же, прикрыв от колкого снега ладонью в варежке глаза, проследил их полёт, после чего неторопливо отправился следом.

Набив желудок серёжками и почками, тетерева попадали в пухлые белые намёты и затаились в лунках. Подстреленному летом косачу не спалось – ныли на морозе зажившие раны. Пытаясь поудобнее устроиться, чтобы в покое отдохнуть от зимних тягот, он долго ворочался в своём убежище – поэтому первым услышал скрип снега на поверхности, когда остальные птицы уже засыпали. Охваченный тёмной тетеревиной тревогой, косач пробил единым махом наметённую на лунку крышу и в белом облаке снежной пыли шумно взвился над землёй.

Следом за ним, разбуженные треском его крыльев, взметнулись из лунок и остальные тетерева.

Двойной выстрел слился в один раскатистый гул. Молодой косач, первым почуявший опасность, и выпорхнувший следом матёрый пестух, словно споткнувшись на лету, кувыркнулись в воздухе и шлёпнулись на снег, окропив его кровью. Остальная стая, охваченная птичьим ужасом, что есть мочи забила крыльями и скрылась за чёрным лесом.

* * *

Пал Палыч и Ника возили на тачке магазины с рамками, тут и там облепленными не желающими расставаться с мёдом пчёлами. Александр Семёнович в пристройке снимал ножом с запечатанных сотов забрус. Пётр Алексеевич крутил ручку гремящей медогонки. Полина то и дело включала электрический чайник, держа наготове горячую воду для вязнущего в воске пасечного ножа. Профессор прогуливал в полях Броса – тумакон и лаской учил без команды не отправляться на поиск и на потяжке не убегать далеко от хозяина.

В пристройке пахло мёдом и ароматной узой.

– А всё-таки коммунизм – сила. – Александр Семёнович окунул нож в бидон с кипятком и продолжил резать тяжёлую, почти полностью запечатанную рамку. – Даже в таком обороте, как у нас вышло.

– Советскую школу с нынешней не сравнить, – поддержала отца стоящая на пороге дома Полина. – Я по сию пору тангенс с котангенсом не спутаю, хотя они мне в жизни ни разу на глаза не попались.

– Вот я – деревенский малец, голытьба, безотцовщина, а мне – образование, Академия, квартира, мастерская... Полстраны за государственный счёт на учебных практиках в Репинке объездил. – Таз перед Александром Семёновичем был уже наполовину заполнен срезанным забрусом. – Винтик из таких строгали? Куда! Доносы на меня в Комитет писали и на целине, и здесь, в Ленинграде. А ничего – двадцать пять лет живопись в Мухе преподавал. Только мы как ломать начнём, так поломаем всё – и хорошее, и плохое. Не уместается в головах, что не только чёрное или белое, а то и другое вместе... Конечно, было и чёрное, ничего не скажу. Зачем мучительство это, давить, оговор? Понятно, с дешёвой силой коммунизм сподручней строить. Но зачем вот это – истерзание, голод лагерный? Да там половина таких было, что за одну идею готовы жилы рвать, Магнитки и Комсомольски-на-Амуре поднимать. А их в пыль – вот этого не одобряю. Да если к человеку с любовью, он тебе всего себя – на блюдечке...

– Чтобы жить при коммунизме, человек должен стать пчелой. – Пётр Алексеевич повернул в медогонке кассеты с рамками. – Да и тогда найдётся пасечник, который захочет ваш мёд хапнуть.

– Это верно, – согласился Александр Семёнович. – Не во всём ещё человек образовался. Но было ведь и светлое – энтузиазм, стабильность, пирожковые... С начала шестидесятых по конец восьмидесятых в магазинах цены не менялись. Теперь такое не представить. И это чувство было, что ты – часть чего-то великого. Самой могучей и справедливой глыбы.

Оцинкованная стенка медогонки блестела изнутри, усеянная стекающими вниз каплями, – всё дно уже было закрыто густой янтарной массой, подёрнутой рябью от вращающихся над самой её поверхностью поворотных кассет. Ещё пару рамок, и надо будет сливать мёд в ведро.

Крутя липкую ручку приводного механизма, Пётр Алексеевич думал: «Коммунизм похож на вечный двигатель – идея есть, а двигателя нет».

Ника подвезла на тачке очередной магазин с рамками. Пётр Алексеевич занёс его в пристройку и поставил на пол рядом с Александром Семёновичем. Потом поменял в кассетах пустые рамки на полные и вновь взялся за вымазанную мёдом ручку. По оконному стеклу, гудя слюдяными лопастями и пытаясь выбраться из сумрачной пристройки на свет, ползали пушистые пчёлы.

Александр Семёнович сменил тему и теперь рассказывал о живописи, метаниях юности, даровитых и не очень художниках, встреченных им на тернистом пути. Большинство историй Пётр Алексеевич уже слышал прежде, поэтому, внешне оставаясь в поле общей беседы, думал о своём. «Вот взять искусство, – размышлял он. – Ведь очевидно, что оно – особая форма консервации энергии. Человек это чувствует, когда слушает великую музыку, смотрит живопись, достойную этого слова, или читает талантливый текст, подзаряжаясь от них, как от чудесных батареек, токами необыкновенной силы. Но это в минуты небесной глубины. А как мы пользуемся этими консервами в обыденщине? Музыкант щиплет струны на сцене – зритель платит за билет. Художник пишет портрет одалиски, *напик* отслюнивает гонорар. Писатель сочиняет истории – читатель пробивает чек за книгу. Происходит трогательный обмен одного обмана на другой. Кто же в нынешние времена будет спорить, что деньги – один из самых великих обманов...»

– Пора сливать, – заглянула в барабан медогонки Полина.

Сбитая в полёте мысль Пётра Алексеевича так и осталась недодуманной – потеряв наметившиеся очертания, она потускнела и ушла на глубину, в придонный ил, где окуклилась в дрёме, как множество других незавершённых мыслей.

Пал Палыч сидел на скамье под рябиной и смотрел, как профессор и Пётр Алексеевич ошипывают уток, бросая перо и пух в большой полиэтиленовый мешок, чтобы не разнёс по двору ветер. Но ветер изворачивался – игриво подхватывал и разносил. Свои трофеи Пал Палыч забросил Нине в Новоржев – сам никогда не щипал, считал, что не мужское дело. Днём после качки мёда поехали на Михалкинское озеро – Пал Палыч с Петром Алексеевичем на лодке, взятой у рыжего старовера Андрея, опять поднимали уток из гушины, а Цукатов с Бросом охотился в заливно-кочковатом осочнике, местами крепком, а местами зыбко колебавшемся под ногой. Кроме двух уток профессор взял в болотине коростеля и бекаса.

Небо быстро гасло, на землю падали сумерки. Полина из дома звала к столу. Откликнулись, мол, скоро: осталась ерунда – опалить и выпотрошить.

Пётр Алексеевич приглашал на вечерние посиделки в Прусы не только Пал Палыча, но и Нину, однако та, сославшись на хозяйственные хлопоты, не поехала.

– Когда в деревне живёшь, тогда и начинаешь природу понимать. – Пал Палыч, видимо, читал по лицам, потому что сразу пояснил: – Вот сейчас лето – ты бегай, а придёт зима – и ты должен спать, как медведь. Медведь без задних ног, а ты вполглаза, ня на все сто спи – набирайся сил на лето. А летом – пошёл, пошёл, пошёл... живи на всю катушку. И уже до осени. Мы от зверей, которые зимой залегают, ня далеко ушли. И это хорошо, меня радует – есть когда вылезаться.

– С луга в лес вышел – там ёлки, хотел пройтись, посмотреть рябчика, – говорил о своём Цукатов. – Рябчика не видел, но забрёл так, что, чёрт дери, все концы потерял – запутался, куда идти. Был бы один – заблудился. Хорошо, Брос вывел.

– Если леший взялся кого по лесу водить, пути путать, – подался вперёд Пал Палыч, – единственный способ, чтоб избавиться – развернуться и с ружья пальнуть. Он, леший, за тобой сзади идёт и тебя вядёт. А если ты без ружья, или ты – женщина, то ня стесняйся, возьми палку и со всей злости – главное, у тебя злость должна быть – эту палку кидай туда, чтобы сзади ня ходил. Потом у тебя сразу ум образуется и куда надо выйдешь. Как старый охотник говорю. Вот был случай: Можный – тоже охотник, тяперь астматик, на фыркалках живёт – остановил машину на дороге, вышел, двинул в лес – ня будешь же на обочине оправляться... Там, – Пал Палыч, откинувшись на спинку скамьи, махнул рукой в сторону темнеющего горизонта, – за Плавно дело было. Зашёл в куст, сел, посидел. Потом – обратно к машине... А отошёл-то всего ничего. Так вместо машины – заблудился! Ходил-ходил, и всё уже... понял, что идёт ня туда. Ни компаса с собой, ни ружья – по делам ехал. А уже вечер, скоро станет тёмно, как тут ня запаникуешь? Единственно вспомнил, как охотники говорили: возьми палку да вмажь ему, чтобы сзади ня ходил. Так он взял палку и палкой этой как его огрел... Чарез две минуты вышел к машине. – Пал Палыч, задрав голову, смотрел на свисающие с веток рябиновые грозди. – И я так делал. Только я с ружья стрелял. И вышел – моментом. Ня то что час-два – сразу вышел. Хошь верь, хошь ня верь, а людьми проверено. Зямля-то зарастает, всё меняется...

– А я слышал – рубашку надо наизнанку вывернуть. – Пётр Алексеевич стирал с рук налипший пух. – Тогда леший отстанет.

– Ня знаю, – усомнился Пал Палыч. – У нас – палкой.

За столом вспоминали охоту, строили планы на завтра. Воодушевлённый добытой позавчера тетёркой Цукатов собирался с раннего утра, затемно, отправиться в лес, надеясь опять набрести на тетеревов или поработать с Бросом по другой боровой дичи.

– Хорошо в Жарской лес сходить, – порекомендовал Пал Палыч. – Там болота, там ягодники. Если поглубже зайти, можно глухаря встретить.

Профессор принёс планшет, открыл на экране карту – Пал Палыч с Петром Алексеевичем показали, где Жарской лес и на какие лесные дороги можно съехать.

Потом Александр Семёнович рассказывал про Академию, про Муху, про студентов и преподавателей. Вспомнил однокурсника – тому не давалась живая натура, и он писал городские пейзажи. Сначала виды старого города утоляли его голод как художника, а потом он и вправду кормился ими – наибольший успех у любителей живописи имели именно работы с соблазнительной петербургской стариной: Мойка в снегу, Невский под дождём, Исаакий в мокрых солнечных бликах...

– Люблю искусство! – дал волю воображению Пал Палыч. – Когда красиво – очень люблю!

И, перехватив у Александра Семёновича инициативу, тут же перескочил на подножку другой истории:

– А вот до чего смешной был случай – дружок охотник рассказал. Мороз – градусов двадцать – двадцать пять – и он пошёл на охоту. С ружьём, но без собаки – собаки у него гожей не было. Ходил, ходил...

А холодно, но на нём тулуп овчинный – хороший, новый. – Пал Палыч приложил ладони к груди, словно ощупывал на себе тулуп. – Нашёл след зайца – надо тропить. Ходит, ходит, тропит... Видит – одна скидка¹, вторая скидка, третья. Ружьё поднял, глядит – а тут заяц соскочил. Он – хлоп его. Заяц побег, но кровинку дал. Он пошёл по следу искать – может, хорошо задел, так завалится. Ходил, ходил, видит – выворотень, и он, заяц, в дыру под корни забрался. Ах ты, милоч, ну я тебя сейчас... – Пал Палыч уже изображал в лицах. – А топора-то нет, так он ножом меж корнями расчистил и – рукой туда. А заяц вижжит, пишшит, ему его никак... Он и палкой туда, и рукой – загнал в бок и за уши-то взял. А заяц вярешшит, как рябёнок маленький. Что делать? Ну, он решил ня забивать, живым принести: покажу, мол, батьке, что руками живого зайца поймал. Вярёвку достал – петлю на задние ноги, петлю на передние – и через плечо за спину повесил. А до дому километров пять. И пошёл – на плече ружьё, за плечом заяц. Идёт – сам в тулупе, а ему всё холоднее и холоднее. Заяц за спиной шавелится, шуршит. Ну, шуршит и пусть шуршит, что с него... Но только ему всё холоднее и холоднее – уже и спина замерзает. Как быть? Надо отдохнуть. Выбрал сосну с суком, чтобы зайца повесить. Остановился, повесил. Тот живой – бьётся, крутится. А что-то всё холодно... Он тулуп снимает, а там такая дырка! – Руки Пал Палыча как будто охватили футбольный мяч. – Заяц проел – отрывал кусками и бросал! А он идёт – ему всё холодней и холодней! – Пал Палыч залился смехом. – Новый тулуп – и такую дырку! Что делать? Надо живым донести, а то батька ня поверит, что тот проел. Отдохнул, опять зайца через плечо... Приходит домой и батьке жалуется: пап, так и так, поймал зайца живого, а он тулуп мне весь разьел. «Снимай, – говорит, – зайца, я погляжу». Он зайца снял. Батька как поглядел на спину – и в покатуху: «Сынок, как он тябе голову ня отьел! Пришёл бы без головы! Как ты шёл пять километров – ня чувствовал?» Понимаете? Он думал – батька ругать будет, а вышло – рассмешил. Вот какие случаи.

Опорожнив рюмку, Александр Семёнович заметил:

– Ты, Паша, всё на память жалуешься. А чего жалуешься? Что с памятью не так? Всё у тебя в порядке.

– Памяти нет, – возразил Пал Палыч. – Басню Крылова в школе выучить ня мог. Смысл понимаю, а рассказать – мне ня рассказать, слова ня запоминаются. А матом заверни, так всё запомню – буква в букву. По примерам, задачам, правилам каким – физика там, чарчение – нет для меня сложности. Понимаете, Ляксандр Сямёныч? Памяти нет, а мозги работают. С годами только маленько стала появляться. Что такое с головой? Как бес водит за нос.

– Мимо такого носа не пройти! – Александр Семёнович задорно рассмеялся.

– Да, – Пётр Алексеевич разделявал на тарелке ломоть тушёного кабачка, – на вас глядя, никогда не скажешь, что с памятью нелады.

– Так я ня спору, – сиял от лестного внимания Пал Палыч. – Память – она такая, интересная. По школе ня запомнить ничего, а если что по жизни – так никогда ня скажу, чтобы памяти не было. Да, быстро выскочит с головы, но потом обратно встанет...

¹ Скидка заячьего следа – один из элементов запутывания следа зайцем: он бежит прямо, останавливается, возвращается по своим следам обратно (т. н. «сдвойка») и делает прыжок в сторону, за куст, кочку, дерево или ещё какое-нибудь укрытие. Прыжок бывает до четырёх-пяти метров.

Вскоре каким-то образом Пал Палыч свёл разговор к Жданку. Пётр Алексеевич готовился к трагедии, но дело не тянуло и на драму.

– Он с Белоруссии, и рода у него такая – половина была в полициях, а половина в партизанах. И сам потому – немножко гниловатый. Свастику любил фашистскую, кепки, как у немецких солдат, сам шил и носил. – Пал Палыч пригладил белёдые волосы, убеждаясь в отсутствии немецкой кепки на собственной голове. – Он человек такой... Дал мне машину. У меня не было – я попросил. Так он потом год попрекал меня той машиной, что он дал, а я у него буксировочный трос свистнул. А я его брать ня брал, этот трос! Какой ты друг, если ты за буксировочный трос обвинил? А я-то знаю, что ня брал!

В девяностые Жданок наладил в подвластном ему обществе такую систему: сбил охотников в бригады и поделил между ними территорию, а кто хотел охотиться самостоятельно – те в пролёте. Каждая бригада платила мзду мясом: завалили лося или кабана – несли Жданку долю. А он от этой части часть – начальству в Псков, чтобы была на столе у руководства свежая дичина. Он всю жизнь хотел подняться выше – быть охотоведом. Пал Палыч тоже метил в ту пору в охотоведы – как-никак техникум за плечами, – на этом со Жданком разошлись окончательно. Пал Палыч намекнул, что Жданок на него в областную природоохранную прокуратуру нехорошие звонки делал. В итоге не вышло ни у того, ни у другого – поставили из Пскова охотоведом третьего.

– Путёвку или лицензию на зверя дают, а охотиться негде – все уголья поделёны между бригадами! – кипятился Пал Палыч. – Или вступи в бригаду, или пошёл вон – тут мы охотимся! А мне это ня надо. – Рука Пал Палыча решительным жестом отвергла несправедливое установление. – Какой ты друг, если я к тебе пришёл, а ты меня на жопу посадил? Ничего – мы тут на зямле никогда ня голодовали... Не было такого. Мы и хозяйством проживём.

Сколько Цукатов себя помнил, ничего подобного с ним раньше не случалось. Заблудиться – и так нелепо – это надо умудриться!

Утром, затемно, как и собирался, он с Бросом выехал в Жарской лес. Уже в рассветных сумерках свернул с гравийки на лесную дорогу, проехал с километр вглубь старого бора, оставил машину и пошёл в чащу. Тут и там на пути встречались давно оплывшие и заросшие мхом ямы от партизанских землянок. Крупноствольный сосняк с можжевельниковой порослью сменялся болотцами и ягодниками, поросшими багульником и чахлым криволесьем, те чередовались с пятнами березняков и осинников, а потом снова начинался бор, во мху которого торчали зеленоватые и красные шляпки сыроежек. Поначалу птицы поодиночке перекликались в кронах, но постепенно лес наполнялся звонким щебетом, дробью дятла, кошачьими вскриками соек. Мох, кусты, траву, черничный и брусничный лист покрывала белёдая утренняя роса, и за Бросом оставался отчётливый тёмно-зелёный след. Собака работала хорошо – прихватывала *наброды*, но ни тетеревов, ни рябчиков, ни глухарей не было, хотя пару раз им встретились пепельно-бурые глухаринные перья.

Ходили долго. Уже давно рассвело, солнце медленно катилось по лазоревому куполу. Высохла роса, солнечные блики, пробившие сети древесных крон, играли на земле и слепили, ударяя брызгами в глаза. Время шло к полудню, когда небо затянула плотная пелена: похоже, хмарь набежала надолго. Несмотря на то что при рассеянном свете и охотник, и грибник чувствуют себя в лесу лучше, чем при ясном небе,

Цукатов подумал: не пора ли повернуть обратно, к машине – не то чтобы он устал, просто охота не клеилась и интерес угасал. Но тут Брос сорвался с места и усвистал в чашу – зоркий глаз Цукатова успел заметить, как мелькнул между стволов бурый зайчонок. Стало любопытно, что предпримет пёс и как поведёт себя, поэтому профессор сразу не отозвал Броса, а зря – следовало отозвать.

Присев на поваленную сосну, Цукатов принялся ждать – чем чёрт не шутит, может, собака блеснёт и выгонит на него зайца. Но время шло, а ни зайца, ни Броса не было – только ровно шумел лес под набевшим ветром, качал кронами, ронял на землю листья, хвою и рыжие чешуйки сосновой коры. Профессор свистнул в свисток. Потом стал звать собаку голосом. Тщетно. Тут он впервые ощутил спиной холодок тревоги. Пошёл в ту сторону, куда сорвался Брос, звал, кричал, даже выстрелил в воздух, но пёс не возвращался и не подавал голос. Тут и там виднелись пласты вывороченного мха – бороздил рылом землю кабан, – Цукатов волновался за пса. Внезапно начался ельник, он был мрачен и молчалив – все лесные звуки гасил шумевший в кронах ветер.

Прошло ещё какое-то время, прежде чем профессор понял, что заблудился. Попробовал сориентироваться, но солнце глухо закрывала небесная хмарь; планшет не показывал точку местоположения, тщетно силясь отыскать спутник, а без того закачанная карта делалась практически бесполезной. Телефон не ловил – опция «звонок другу», увы, оказалась недоступна. От машины он шёл в лес примерно на север, возможно, немного уклоняясь на запад, значит... С гравийки сворачивал налево, следовательно, она где-то на востоке... По сосновым стволам Цукатов определился со сторонами света и двинул туда, где находился юг – до лесной дороги, предположил он, путь короче, чем до гравийки.

Уже вечерело, когда профессор почувствовал, что накал беспокойства в его сердце дошёл едва ли не до градуса смятения – Цукатов тлел изнутри, как торфяник. Его предал юг, его предал восток – и там и там был только лес, болота и снова лес, становившийся всё дремучее и непролазное. Ему уже мерещились между стволов пугающие тени: не то чтобы он впал в отчаяние – для паники Цукатов был неуязвим, – однако душевное равновесие определённо его оставило. Профессор вымотался, ноги его гудели, глаза разъедал пот усталости, но он шёл и шёл, не позволяя себе и пяти минут малодушного отдыха. В какой-то момент, обернувшись, он в сумерках вполне отчётливо увидел, как в нескольких шагах позади что-то большое и косматое, покрытое буро-зелёной шерстью, беззвучно метнулось за дерево, оттуда удивительным скачком – за другое... Ток крови замер в его сердце. Вскинув ружьё, Цукатов выстрелил.

* * *

Из рябухиных петушков осталось только два брата. Худо ли, хорошо – перезимовали оба. Не бил их больше из грохочущей палки человек, не скрадывала зубастая лиса, не подстерегала енотовидная собака, залёгшая в эту зиму на морозы в спячку. До начала весны братья держались с косачиной стаей, а потом по родовому зову ватага распалась, каждый сделался сам по себе. Однако братья всё же старались не терять друг друга из виду, кормясь и ночуя по соседству.

На земле всё шире расходились проталины, небо засияло звонкой голубизной, лес пах теперь совсем иначе, наполненный бодрящим жи-

данием и брожением оживших соков. Поначалу, когда матёрые косачи, взлетая по утрам на деревья, стали затевать первые, ещё как будто робкие песенные споры, братья слушали их с удивлением, но вскоре и им неодолимо захотелось вплести в этот воркующий хор свои неумелые голоса.

Капель отзвенела, посеревшие сугробы сползли в низины, на припёках обнажилась прошлогодняя трава, из веток берёз на зимних сломах засочилась душистая влага. Теперь братья смотрели на случайно встреченных тетёрок совсем другими глазами – вид их пробуждал волнуемое нетерпение и сладкую негу у них в груди. Одновременно почувствовав трепещущими сердцами дыхание весны, ведомые её проснувшейся силой братья отправились, толком не ведая зачем, на ту самую поляну посреди заросшей вырубки, куда в прошлом году прилетала на тетеревиное токовище их мать. Поначалу они только слушали бормотание и чуфыканье бывалых петухов, наблюдали за их танцами и яростными схватками, но с каждым днём их всё сильнее тянуло туда, на поляну, в центр гульбища, чтобы забыться в песне, закружиться в танце, помериться силой в драке и получить за рвение и доблесть ещё неведомую награду.

Наконец один из братьев решился. Заняв вершину серого от полёгшей прошлогодней травы бугра, он опустил на землю крылья, расправил чёрный хвост с косами и облачно-белым подхвостьем, вытянул вперёд напрягшуюся шею, затапал и покатил по лесу гулкую курлыкающую песню – гимн пробуждению мира, призыв к сражению и любви. С упоением отдаваясь колдовскому распеву, он позабыл о всём на свете: он остался один, земля и небо вокруг померкли – не было больше других косачей, танцующих на поляне, не было дыхания леса, напоенного запахами восстающей из зимнего морока жизни, не было радостно галдящего гусяного клина в небе, не было нерешительного брата, из последних сил сдерживающего в себе разлив весны, не было большой беловато-серой птицы с загнутым острым клювом, которая смотрела на певца с сосны ярко-рыжими, внимательными и холодными глазами...

Не слышал и не видел исступлённо поющий косач, как, рассекая пёстрой грудью воздух, сорвалась птица с сосны, как напуганные её видом взвились в воздух другие тетерева – не потерявшие чутья соперники, – и только чудовищная боль пронзила его тело, когда в него впились мощные острые когти. Косач на последнем дыхании попытался извернуться, сбросить оседлавшую его ужасную птицу, но получил удар могучим клювом по голове, и мир погрузился в полный мрак.

Брат, затаившийся в ивовом кусте, видел, как ястреб расправил крылья, тяжело взмахнул ими и грузно, над самой землёй, задевая сухие травы, понёс добычу в лес по другую сторону просеки.

* * *

– Во-во, – выслушав на следующий день рассказ профессора, сказал Пал Палыч. – Это вас леший обошёл. Иной раз в лес и вовсе ходить ня надо, когда леший бесится. Но то в октябре, на Ерофея-мученика...

– Как бесится? – Цукатов бросил на собеседника недоверчивый взгляд.

– Злой делается. Деревья ломает, с корнями выворачивает, зверей гоняет, а человека так обвядёт, что тот в трёх соснах заплутает и ня выйдет. Потому – ему самому, лешаю, в тот день пропадать.

– Куда пропадать? – брови Петра Алексеевича удивлённо вздёрнулись.

– А я знаю? – удивился в ответ Пал Палыч. – Старики говорят – что как сквозь зяблю. Я пробовал его ловить, но ня вышло – больно ловок. Пулей по лесу мечется – свищет, плачет да хохочет только. Поди его разбери – он, если что, и в волка перекинется, и в сову. И человеком обернётся запросто, если ему нужна. Увидишь в лесу дедка-молчуна с одним ухом, – Пал Палыч полоснул ладонью себе по правому уху, безжалостно его отсекая, – у которого ни бровей, ни ресниц – это он и есть. Всё зверьё лесное под его рукой, а зайцы – подавно. Лешаки их друг дружке в карты проигрывают. И белки – те тоже. Если они без страха пярэд людям чарез деревню стадом бягут, скачут по крышам, в печные трубы обрываються – тут без разговоров. Это лешие артелью в карты резались и одни другим проигрыш пярегоняют.

Профессор Цукатов и Пётр Алексеевич сидели на скамье во дворе у Пал Палыча. Хозяин, широко разведя колени, пристроился рядом на осиновой колоде. Брос, измотанный и как будто даже похудевший за вчерашний день, смирно лежал у ног Цукатова, не обращая внимания ни на разбежавшихся при его появлении кошек, ни на заливистое гавканье хозяйских собак в деревянном вольере с зарешёченной дверью. Перед гостями стояли два мешка для строительного мусора, доверху наполненные книгами по охоте и журналами для промысловиков и любителей. Богатство это Пал Палыч унаследовал от Жданка – в память о старой дружбе передала вдова, не видя в бумажном хламе никакой пользы. Он отобрал себе всё интересное, остальное пролежало в чулане год, и теперь, прежде чем выбросить, Пал Палыч решил показать сокровища гостям – вдруг что приглянется.

На скамье между деловитым Цукатовым и Петром Алексеевичем, рассеянно листавшим альманах «Охотничьи просторы» за 1967 год, лежал столовый нож, изрядно сточенное лезвие которого сплошь было в невероятных разноцветных разводах. Внуки Пал Палыча, насмотревшись неделю назад на развешенные по стенам дома в Прусах этюды Александра Семёновича, чинили этим ножом цветные карандаши.

Сияющий в лучах послеполуденного солнца наружный отлив под окном Пал Палычева дома слепил глаза. Он был сделан из звонкой оцинкованной жести, чтобы летний ливень извещал о себе не шуршанием и шелестом, а неистовым грохотом литавр.